

Л. П. Якимова

Новосибирск, Россия

**РАССКАЗЫ ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА «ПЛОДОРОДИЕ»
И КОНСТАНТИНА ФЕДИНА «ТИШИНА»:
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИАЛОГ**

Целью статьи является сравнительно-сопоставительное рассмотрение поэтико-смыслового содержания рассказов Вс. Иванова «Плодородие» и К. Федина «Тишина» в аспекте установления сюжетно-композиционных, образно-стилевых, а главное – мотивных пересечений, сходства и различия творческих ходов, средств и приемов в освещении жизни российской деревни 1920-х годов. Сравнительно-сопоставительный план исследования рассказов получает оправдание уже на номинативном уровне: «плодородие» и «тишина» обращены к художественному лексикону, полемически противостоящему жесткой стилистике литературы 1920-х годов, равно как и канонизированному Пролеткультом «индустриальному мотиву горна и вагранки, молота и наковальни» (К. Федин). Выявление интертекстуальных корней мотива «тишины» («спокойствия», «плодородия»), идейно-эстетической роли бунинских реминисценций в рассказах Вс. Иванова и К. Федина, в том числе и рассказа Л. Леонова «Приключения с Иваном», позволяет сделать вывод о глубине их подтекстового содержания, что оказывается важным не столько в плане преодоления цензурных препятствий, сколько в смысле обогащения эстетики и поэтики русского реализма.

Ключевые слова: Всеволод Иванов, мотив, мотивный анализ, поэтика, революция, Константин Федин.

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокруг тебя цветы пестреют
И класы на полях желтеют...

М. В. Ломоносов

Мотив тишины в русской литературе восходит к ее архетипам и непосредственно соотносится с проблемами онтологического характера, касающимися смысла жизни и мироустройства. Об этом свидетельствуют строки эпиграфа.

Якимова Людмила Павловна – доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия, motive@philology.nsc.ru)

В общем литературном контексте 1920-х годов *тишина* отчетливо выявляет свою антонимическую сущность по отношению к революции, утрачивая лексическую нейтральность и приобретая осязаемо выраженный идеологический акцент, о чем можно судить, например, по переписке Вс. Иванова с Горьким: «Вот Вы, Алексей Максимович, пишете, что спокойствие вредно для людей. Вредно ли оно для нас, русских, сейчас. Очень не вредно... Спокойствие нации воспитывает волю и жадность к жизни отдельных людишек, чего у нас сейчас нет; люди искорверканы, все внутри их изломано, свершить преступление сейчас ничего не стоит – да вот кстати, и в тюрьмах у нас перенаселение» (цит. по: [1, с. 331]).

В письме как тексте, не рассчитанном на цензуру, советский писатель отваживается на высказывание очень сокровенных, даже потаенных мыслей, позволяющих видеть не только глубоко антиномическую природу желаемого «спокойствия» и произведенной в стране «великой встряски, востормошения», но и подлинность его отношения к сложившейся в России ситуации.

От начала Революции шел год, приближающий ее к юбилейному десятилетию, но конца новым «востормошениям» не предвиделось. Победившая революция вызвала к жизни и предоставила всевозможные творческие преференции пролетарской литературе, безоговорочно славившей строительство новой жизни, не соотнося цели со средствами ее достижения. Как позднее вспоминал К. Федин, в литературе «господствовал канонический индустриальный мотив горна и вагранки, молота и наковальни» [2, с. 149], а власть в литературной политике захватил Пролеткульт, с неистовой ревностью отслеживающий чистоту пролетарского искусства и прославившийся неистощимой силой своих гонений на малейшее отступление от его канонов. В результате в лице целого сонма пролетарских писателей и поэтов советская литература тех лет внешне обрела неповторимый колорит праздничности, устойчивые черты революционной неотступности, фанфарного пафоса неотвратимого торжества социализма, к тому же тогда еще не исчерпана была до конца и вера в его мировую победу. С особой силой активизировалась поэтика прорыва и наступления, остро востребованным оказался поэтический лексикон разлома и разгрома, перелома и перепутья, сокрушительной бури, освежающей грозы, очистительного половодья, новым смыслом наполнялись образы бунтарей Емельяна Пугачева, Степана Разина.

Засилье пролеткультовских взглядов привело в конечном счете к тому, что в России, где большую часть населения составляло крестьянство, деревня рассматривалась как последний оплот буржуазии в стране победившего социализма, средоточие угрожающего затишья и сохранности тех сторон национальной психологии, которые по законам революционного времени подлежали искоренению. Под натиском пролетарской проблематики деревенская тема, традиционно привлекавшая внимание русского писателя, оказалась оттесненной на задний план: литературные журналы и книжные издательства с неохотой предоставляли печатные страницы писателям-деревенщикам, в особенности же тем, кто не акцентировал внимания на пресловутом «идиотизме деревенской жизни», а стремился к воспроизведению цельной картины пореволюционной действительности русской деревни.

В реальности своих глубинных связей и отношений расклад писательских сил России 1920-х годов выглядел много сложнее, чем это могло представиться первому взгляду. Типология пореволюционной литературы не сводилась к простому противостоянию тех, кто принял революцию а priori, на веру, не задумываясь, сказал ей: «моя!», и тех, кто так же решительно сказал ей «нет!» и предпочел уйти в эмиграцию, зарубежную или внутреннюю. Весьма значительным оказался и тот ряд писателей, кто и страны не покинул, но и слепому оптимизму не поддавался, а, оказавшись лицом к лицу с «огнедышащей новью» и «великой встряской»,

предпочел, как Л. Леонов, Вс. Иванов, К. Федин, вдумчивое взглядывание в реальные глубины «непонятного времени».

Сближала этих писателей мысль об антиномических противоречиях города и деревни. Как хлеб необходим городу, так город необходим деревне в обогащении плодами технического прогресса, обеспечении товарами фабрично-заводского производства, орудиями сельскохозяйственного труда: ситец, сахар, керосин, ружье и порох для охоты, сенокосилка, трактор – все отсюда. Город несет селу знание, просвещение, но город и опасен проникновением идей, порождающих безбожие, своеволие, падение нравов. Город пугает деревню своей неприязнью к ее вековым обычаям, неумной страстью к преобразованиям. «Там безумствуют, – тревожно кивает герой пьесы Л. Леонова «Унтиловск» в сторону центра, – нового человека выдумывают... мир пугают новыми словами, и какими словами» [3, с. 16].

В атмосфере канонической власти пролетарского искусства эти писатели не поступились не только творческим интересом, но и личным доверием к деревенским ценностям. Тем более важно отметить, что и Л. Леонов, и К. Федин, и Вс. Иванов – это, фигурально выражаясь, «птенцы гнезда Петрова», т. е. писатели, пользовавшиеся всемерной поддержкой А. М. Горького и относящиеся к нему как своему Учителю. Но, склоняясь перед непревзойденной силой его художественного мастерства, ни один из них не стал последователем горьковского нетерпения в отношении к деревне, его неверия в ее духовное здоровье и убежденности, что ничего ценного в культуру человечества она внести не может, что «живую, новую истину приносят в деревню извне» [4, с. 111]. В произведениях, созданных в 1920-е годы, – в романе Л. Леонова «Барсуки» (1924) и в его «Необыкновенных рассказах о мужиках» (1927–1928), в цикле рассказов К. Федина «Трансвааль» (1926), в книге Вс. Иванова «Тайное тайных» (1926) ошутимо проступает целевая установка авторов представить реальную картину деревенской жизни в свойственных ей противоречиях, когда «власть тьмы» в многообразии ее проявлений уживается с нетленными духовными ценностями – сохранностью благоговейного отношения к природе, преданностью земле, верой в Бога, способностью к милосердию.

В собрании разнородных произведений – роман, книга, цикл, сборник рассказов, выявляющих взгляд Л. Леонова, К. Федина, Вс. Иванова на русскую деревню пореволюционной поры, зримо проступает отдельность, можно сказать, идейно-эстетическая особость двух рассказов, появившихся почти одновременно и дающих основания для их сравнительно-сопоставительного рассмотрения: речь идет о рассказах К. Федина «Тишина» (1924) и Вс. Иванова «Плодородие» (1926).

Поводов для сопоставления творческого пути К. Федина и Вс. Иванова, тем более установления идейно-эстетической связи отдельных произведений, более чем достаточно. Целые десятилетия их творческой жизни прошли в общем историко-культурном пространстве рождения нового типа искусства – советской литературы, более того, они оказались в ряду тех начинающих писателей, кто стоял у самых ее истоков, явился первопроходцем ее исторических путей. Наряду с Л. Леоновым, К. Федин и Вс. Иванов оказались в поле пристального внимания М. Горького, и именно с их именами он связывал надежды на будущее молодой советской литературы. К. Федина и Вс. Иванова прочно связала память о членстве в одном из первых литературных объединений советских писателей «Серапионовы братья», и это был случай, когда творческий союз перерос в личную дружбу, сохранившуюся до последних дней. Примечательно, что книгу воспоминаний о Вс. Иванове открывает именно К. Федин текстом с проникновенным названием «Всеволод»: «Ушла часть твоей жизни. Оторвали часть твоего сердца. Что-то на-

поминающее момент, когда сказали – умер Горький. Тогда горе было сыновним. Сейчас не назову его иначе как братним. Умер брат» [2, с. 5].

Важно отметить, что и исследователи неоднократно отмечали особую сближенность творческих путей К. Федина и Вс. Иванова в определенный период, родственность их духовных и эстетических исканий. «Меня интересовала не социальная сторона явлений, а биологическая, скрытая, интимная, – сокровенность чувств хуторянина, цепкость его надежд, его ожидание сказки» [4, с. 293], – признавался К. Федин в период своего обостренного внимания к мироощущению российского крестьянства в эпоху революции. «И было видно, – размышляет по этому поводу В. В. Бузник, – что в принципе он шел тем же путем биопсихологизма, что и Вс. Иванов в “Тайном тайных”, хотя не столь прямолинейно, а потому благополучно минуя наиболее опасные в идейном и художественном отношении “ловушки”, подстерегающие на этом пути» [5, с. 247].

Согласиться в этом утверждении можно лишь с мыслью о близости творческих исканий Вс. Иванова и К. Федина, что же касается высказываний писателя относительно интереса к «биологической стороне поведения человека», то нельзя не обратить внимание на то, что исследователи упускают из виду приблизительность этого понятия в интерпретации писателя, простиупающей в попытках определить его путем подбора синонимов – «скрытая», «интимная», «сокровенная», которые с «биологической» стороной слабо соприкасаются. Из общего контекста суждений К. Федина и сопоставления их с текстовой реальностью художественных произведений этой поры следует, что писатель имел в виду не столько проявление биологической сущности человека, сколько общечеловеческий, антропологический профиль крестьянина.

Не только Вс. Иванов и К. Федин, но и другие писатели, не поддавшиеся иллюзиям мгновенного пересоздания мира, шли трудным путем поисков органической связи социального с общечеловеческим, сиюминутного с вечным. В этом контексте нельзя оставить без внимания, какие творческие усилия к воплощению мысли о необходимости различать злободневный интерес от непреходящих ценностей жизни приложил Л. Леонов, отделяя естественную для человечества мечту о земном благоустройстве, «ощущение сказки» от прихотливых фантазий о переустройстве мира.

Что Россия нуждалась в преобразованиях, способствующих преодолению вековой отсталости, это не было предметом сомнения ни для кого из них, вопрос стоял о путях ее обновления: протест вызывала бездумность отказа от ценностей прошлого, волюнтаристская природа создания нового строя жизни, огульное противопоставление консервативной деревни революционизированному городу. Писателей, взявших деревенскую проблематику под защиту от пролеткультовского остракизма и видевших в деревне не только охранную зону национального благоденствия и земного плодородия, но и неизбывный источник обогащения человеческой природы чувством прекрасного, постоянно упрекали в предательстве революции, уклоне от социально значимого в натурализм и биологизм, отвлеченный психологизм.

В стремлении скомпрометировать деревенскую проблематику критика 1920-х годов буквально заиклилась на мнении о приверженности Вс. Иванова и К. Федина принципам биопсихологизма, бессознательной власти темного, стихийного в поведении человека. И то, что твердили из статьи в статью, приобрело с течением времени силу неопровержимых истин, автоматически перешедших в советское литературоведение и следующих десятилетий. В годы, когда создавалась работа В. В. Бузник, это мнение обрело уже характер литературоведческого штампа, мешавшего восприятию живой подлинности текста, в 1920-е же годы за терминологической наступательностью пролеткультовцев скрывалось нечто большее –

идеологическое противостояние, непримиримость революционного авангардизма к традициям реалистического искусства.

В творческой жизни Вс. Иванова и К. Федина создание рассказов «Плодородие» и «Тишина» выходило за рамки ее повседневного течения. И для того, и для другого это был особого рода творческий поступок, момент глубоко осознанного творческого поведения, в определенном смысле акт программного характера. Именно об этом пишет Вс. Иванов М. Горькому в Сорренто: «Мне бы хотелось, чтоб вы прочли, Алексей Максимович, в январской книжке “Красной нови” – 926 г. – рассказ мой новый “Плодородие”. Там все мои последние думы» (цит. по: [1, с. 331]).

Фактом творческого диалога между К. Фединым и М. Горьким стал и рассказ «Тишина» [6].

Выход рассказов К. Федина и Вс. Иванова в свет был полемическим вызовом литературной моде тех лет, противостоял той стихии тотального ожесточения, которой преисполнена была масса литературной продукции, неизменным пафосом которой служили идеи классовой непримиримости, социального возмездия, людского озлобления. «Нынешние любят описывать трупы и смрад или половые штучки – у всех о трупах или перерезанных горлах, – делился своими впечатлениями о текущей литературе близкий друг К. Федина И. С. Соколов-Микитов. – Это болезнь... И самое, может быть, подхалимство – описывать нынешний быт и Россию так, чтобы “начальство” не придралось» [7, с. 512].

Полемический запал рассказов К. Федина и Вс. Иванова был ощутим уже на номинативном уровне: «*тишина*» и «*плодородие*» оттеняли агрессивно-воинствующую тональность господствующего в литературе лексикона, где лексема «*злоба*» бросалась в глаза в прямом смысле – на визуальном уровне.

Сам факт создания этих произведений и появление их в печати был актом профессионального мужества, проявлением писательского долга, сопряженного с риском подвергнуться репрессиям. Революционистской апологетике «начальства» писатели противопоставили художественное исследование складывающихся в пореволюционной деревне отношений, трезвый анализ столкновения нового со старым.

Идейно-эстетическая перекличка рассказов Вс. Иванова и К. Федина носит видимый, полностью открытый читательскому взгляду характер: она обнаруживается на разных уровнях их нарративной структуры – темы, сюжета, композиции, в значительной части состава их действующих лиц, хотя по выбору жизненного материала они глубоко различны, и именно это различие в материале изображения делает их перекличку особенно выразительной, позволяя выявить в ней особые смысловые грани.

В рассказе «Плодородие» [1, с. 35–59], явившемся центральным в книге «Тайное тайных», писатель воспроизводит картину жизни богатого алтайского села Ильинское в ту послереволюционную пору, когда радикальные инициативы города еще не затронули его вековых устоев: «Сельчане были староверы – кержаки по-алтайскому, любили с благочестием помогать друг другу, любили, чтоб упоминали часто о такой помощи» [1, с. 36]. Ни о каких переменах здесь не помышляют: законы трудолюбия, взаимовыручки, благоверия чтут неукоснительно: «Мы стогам верим да скирдам, да богу» [1, с. 51], – говорят сельчане. О царствующем здесь жизненном ладе красноречиво говорят дома: «Подле изб, как и везде у сибиряков, лежали напоказ богатства все: плуги, косилки и жнейки... Ворота высокие, как у крепостей, с железом крытыми крышами. На бревенчатых заплотах сидели кошки, сытые, толстые» [1, с. 42], да и сами «сельчане сытые, здоровые» [1, с. 39]. Окружающая природа предрасполагает к мирному, спокойному течению жизни: все вокруг Ильинского – озеро, горы, земля – дышит плодородием, пол-

нится благодатью. Озеро полно рыбой; горы манят разнообразием трав, грибов, птиц; «долины пахнут цветущими хлебами» [1, с. 38].

Щедрость поэтических красок, используемых Вс. Ивановым для описания окружающих Ильинское плодородия и благодати, вызывает в памяти жанровые картины пасторали, описания, идиллии. Герою рассказа «казалось, что сквозь синеватую пленку тумана, закрывавшую озеро и долину, он видит поля, плотно затканые колосьями. Звенят усики, подмигивает игривый овес, просо лохмато, будто староверческие бороды... Много телег едут осматривать поля, голоса звенят ясно» [1, с. 38].

Безусловно, веет от этого идиллического текста ассоциациями с ломоносовским восхищением временем, когда «вокруг цветы пестреют, и класы на полях желтеют», но главное – прорывается живой авторский голос, озвучивающий мысль о бесценности социального и природного «спокойствия», о необходимости которого для нации говорил Вс. Иванов в письме М. Горькому: «Жить бы да поживать в такое утро да в таких местах» (цит. по: [1, с. 39]). Однако городская новь врывается в Ильинское нежданно-незванно: тревожные симптомы грядущих перемен обнаруживаются в непонятном поведении некоторых односельчан, например Мартына, и появлении в их лексиконе пугающего слова «партия», с созданием которой они грозятся «зажать гасники» богатым мужикам [1, с. 47].

В богатом кержацком селе к таким, как Мартын, сложилось пренебрежительное отношение, но не потому, что беден, а потому что беден по причине лености, нерадивости к хозяйству: «Ко сну он был падох» [1, с. 37], «...любил уходить в горы. Там легче думалось о кладах, редко встречались сельчане, при первом же слове упрекавшие его в лености» [1, с. 36]. Однако ленивый и нерадивый, а потому и бедный Мартын далеко не глуп и не лишен сообразительности, не потребовалось много усилий, чтобы понять: время работает на него. Как и его приятель Турукай, тоже «мужик пустой и никчемный» [1, с. 41], он чутко улавливает дух и направление наступивших в стране перемен, склоняющихся в сторону защиты интереса бедных – чаще всего путем практической реализации нехитрой формулы «отнять и поделить».

В страхе перед неведомым кержацкие старики, смиряя гордость и достоинство уважаемых на селе людей, отправляются к Мартыну на переговоры: «Мартын Андреич, ты бы эту штуку, что Турукай болтает, оставил...» [1, с. 47–48]. И на словах убеждали, и заверением новой помощи – и хлебом, и скотиной пытались прельстить, но, ощутив защищенность временем, Мартын уже успел войти в роль хозяина положения, ненадолго вкусить соблазн власти над людьми, уже не в силах справиться с желанием покуражиться над ними и в упоении этой случайной властью, почти теряя чувство реальности, кричит: «Прошу встать!..» [1, с. 48].

Автор тщательно, с огромной силой достоверности воссоздает тот внутренний механизм возникновения, разрастания и обострения конфликта, когда провокационное поведение Мартына и стихийный страх староверов перед будущим, сомкнувшись, приводят к трагическому финалу – гибели Мартына от самосуда, с одной стороны, и неизбежности сурового суда официальной власти над подавившимися праведному гневу мужиками, с другой: «Когда Мартын стих и перестал даже подергиваться, лысый старик вытер пот, оправил рубаху, перекрестился. – Миром согрешили, миром и отвечать» [1, с. 58].

Обернувшись нарушением благодатно-плодородного «спокойствия» сельской жизни, частное происшествие с кровавым исходом в селе Ильинское как бы предупреждает об опасности его переключения во всеобщий масштаб войны бедных и богатых, по пролетарской идеологии тех лет Гражданской войны – красных и белых.

Как «Плодородие» является составной частью книги «Тайное тайных», так и «Тишина» входит в цикл рассказов, созданных К. Фединым в результате длительного пребывания в Дорогобужском уезде Смоленской губернии в 1923 и в 1924–1925 годах: кроме «Тишины» – это «Трансвааль», «Пастух» и «Утро в Вяжском». В отличие от богатого сибирского села Ильинское изображенная в рассказе «Тишина» среднерусская деревня Архамоны относится к числу бедных, подтверждая справедливость наименования России лапотной. Здесь пастух Агап не только скот пасет, но и кочедык из рук не выпускает – лапти плетет: в них и сам обут, и других обувает. Но не в пример Ильинскому здесь крестьяне уже успели провести революционную операцию по имени «отнять и разделить»: объектом такого социального действия в Архамонах стал главный герой – Александр Антоныч, милостиво оставленный новыми хозяевами на положении «дикого барина». С описания разоренного дворянского гнезда, где в тоскливом одиночестве проходит его жизнь, начинается рассказ. Подробно же операция по установлению социального равенства революционным путем описана на примере соседнего села Рагозное: «Шесть лет тому назад собравшиеся с округи крестьяне порешили разделить именье Таисы Родионовны между двумя деревнями. Дележ начался с усадебного дома, и часа через три по его старым комнатам гулял и посвистывал ветер. В доме остались только обои с невыгоревшими темными кругами и полосками на тех местах, где прежде висели картины. В стекле на деревнях была большая нужда, и окна усадебного дома больше не светились на солнце. Что до самой Таисы Родионовны, то мужики, пока занимались дележом, держали ее на замке в риге, а как прибрали в усадьбе все к рукам, выпустили...» [6, с. 354].

То, что в рассказе «Плодородие» нависает над селом Ильинское как угроза «зажать гасники» зажиточным мужикам, в деревне Аргамаки оборачивается жестокой реальностью: революционный метод установления социального равенства – «отнять и разделить» – в рассказе «Тишина» предстает в такой степени историко-конкретной наглядности, что воспринимается как классическая формула этого социального мероприятия. Однако, осуществив дележ барской собственности, крестьяне сохранили жизнь бывшим господам – и Александру Антонычу, и Таисе Родионовне.

На первый взгляд читателя не может не удивить неорганичность связи между революционным нетерпением и поистине христианским милосердием в поведении мужиков, но у нее находится объяснение при более глубоком размышлении о характере взаимоотношений мужика и барина, рассмотренных в долгой исторической ретроспективе. Когда побеждало начало социальной розни, торжествовал и безжалостно-безоглядный «дележ», когда же дошло дело до выбора между жизнью и смертью «господ», заговорила в крестьянах вековая сила родственности мужика и барина, скрепленной национальным почвенничеством, единым чувством привязанности к родному месту, природе, земле, общим пониманием красоты, исходящей от тишины и плодородия окружающего мира. И как даже ленивый, склонный к праздному препровождению времени Мартын не обделен способностью ощутить полноту разлитой вокруг природной благодати, так сливаются в общей любви к полю, лесу, реке Александр Антоныч и крестьянский мир деревни Архамоны, так нераздельно их восприятие природных и земледельческих циклов: «По утрам, просыпаясь и прислушиваясь к тишине, Александр Антоныч знал, что нынче зацветает ярица или наливаются рожь, или колосится усатый ячмень... По пути в поле встречал он то, что ожидал встретить, вставая с постели: цвела и шелестела белесая ярица, иль наливалась и бухла рожь, или голубели низкие, тонкие льны» [6, с. 162]. Человеческой нераздельностью отдают отношения бывшего барина и пастуха Агапа, с одинаковой, доходящей до самозабвения,

страстью предающихся рыбалке и способных разделить последний кусок хлеба. Особого эмоционально-смыслового значения исполнена сцена ухода Александра Антоныча из деревни, раскрывающая глубину человеческой связи мужика и барина: «Наутро он разыскал Агапа, созывающего теплых, дымящихся паром коров в пестрое стадо. На просьбу Александра Антоныча Агап насыпал ему в карман соли, отломил кусок пирога, дал напиток пахтанья. Когда Александр Антоныч кивнул ему головой и зашагал прочь, он дернулся следом за ним, взмахнул нелепо руками и дрогнувшим голосом крикнул:

– Антоныч!.. ты этого... вертайся, Антоныч... случае чего! [6, с. 359].

Хотя в рассказе «Тишина», казалось бы, отсутствуют прямые текстуальные отсылки к деревенской прозе И. Бунина, но трудно не услышать в нем ее эмоционально-смысловые интонации, не уловить того особого духа «Антоновских яблок» и «Суходола», которым пропитана мысль о нерасторжимости корневой основы барина и мужика, помещика и крестьянина: «Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, – очень недавно, – предается воспоминаниям лирический герой, – имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию» [8, с. 188]. Не удивительно, что отдавшемуся потоку юношеских воспоминаний герою «казалось на редкость заманчивым быть мужиком» [6, с. 188]. И если в «Антоновских яблоках» акцентирована хозяйственно-экономическая общность помещиков и крестьян, то в повести «Суходол» актуализирован мотив кровного родства некоторых членов этого мелкопоместного сообщества: драматизм судьбы главной героини повести – Натальи – во многом предопределен тем, что она молочная сестра хозяйина усадьбы, одновременно и «барышня», и «простая дворовая». Да и любовная интрига «Тишины» тоже включает момент связи барина Александра Антоныча с простой крестьянкой – босоногой плясуньей Аксюшей, усиливая мысль о сложных путях деревенского родословия.

Сам выбор названия рассказа мог быть навеян К. Федину поэтической атмосферой деревенской прозы И. Бунина, на автобиографические истоки которой неоднократно указывал сам писатель: «Тут, – писал он, – в глубочайшей полевой тишине, среди богатейшей по чернозему и беднейшей по виду природы, летом среди хлебов, подступающих к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной» [8, с. 4] (курсив мой. – Л. Я.).

По тому, как часто употреблена И. Буниным лексема «тишина» и как разнообразно глубоки ее эмоционально-смысловые акценты, можно говорить о том, что данное словоупотребление выходит за пределы узко бытового назначения, а обретает бытийно-онтологический смысл. Есть у него и одноименный рассказ, написанный на материале инациональной действительности, что лишь подтверждает бунинское понимание «тишины» как бытийного состояния, соответствующего высшему назначению человека, и что многое объясняет в жизненном и творческом поведении писателя, навсегда покинувшего Россию после «великой встряски» 1917 года.

Близость же художественных почерков Вс. Иванова и И. Бунина в критике 1920-х годов не осталась незамеченной, обратил внимание на это обстоятельство и М. Горький, подчеркнув даже в некотором отношении превосходящую силу поэтического мастерства советского писателя: «...Сейчас вы *изображаете* так, как это делал И. Бунин в годы лучших достижений своих – <1>905–<19>12 – когда им были написаны такие вещи, как “Захар Воробьев”, “Господин из Сан-Франциско” и прочие. Но мне уже кажется, что в *пластике* письма Вы шагнули дальше Бунина...» (цит. по: [1, с. 334–335]).

Весьма осязаемое в некоторых произведениях книги «Тайное тайных» бунинское начало проявляется в них в разной степени яркости: если в рассказе «Жизнь Смокотинина» отчетливо проступает интертекст «Темных аллей», то в рассказе «Плодородие» осязаемо скорее лишь общее отношение к деревне как хранительнице нетленных нравственных ценностей, т. е. всего того, что в памяти И. Бунина неотделимо от «запаха антоновских яблок – здоровья, простоты, домовитости» [8, с. 418] и что в тексте рассказа Вс. Иванова выдает созвучность как бы нечаянно прорвавшегося через объективированное повествование авторского голоса – «жить бы да поживать в такое утро да в таких местах» [1, с. 39] – широко распахнутому бунинскому лиризму: «Как холодно, росисто, как хорошо жить на свете!» [8, с. 186].

В сюжетно-композиционном плане обоих рассказов существенное место занимает любовная интрига, что соответствовало горьковскому пониманию высшего назначения литературы как человековедения. В мемуарной книге «Горький среди нас» К. Федин вспоминает: «Когда я прощался, он взял меня за плечи и проговорил на ухо сокровенным шепотом: – Женщину непременно введите. Без женщины нельзя» [4, с. 171].

И в «Плодородии» Вс. Иванова, и в «Тихине» К. Федина история любви главных героев неотрывна от общей картины социальной жизни, органично отзывается на происходящие в обществе перемены, отдает глубинным духом его «великой встряски»: и как нравственная качественность растревоженного времени поверяется любовью, так и любовь подвергается суровой проверке временем. Так случилось, что бедный по причине собственной лени Мартын полюбил жену богатого сельчанина – начетчика Скороходова. Встретив Елену, Мартын почувствовал, что «вдруг у него громко – будто в реве – заныло сердце. Сначала он как будто сдержал себя, но мотанулось, словно щука на крючке, сорвалось – и понесло» [1, с. 36]. Но сознание Мартына уже деформировано ложными социальными посылами: даже в любовном чувстве, внезапно охватившем его, он пытается усмотреть скрытую социальную подоплеку, обнаружить изначальность вины богатых перед бедными, непреодолимую их враждебность в отношении друг к другу: «Крала толстопузая, – уныло сказал Мартын, – тоже лезет...» [1, с. 36]. И вместо того, чтобы отдаться стихии естественных чувств и прибегнуть к обычаям ухаживания, герой ожесточается против «виновницы» своей душевной смуты и переходит к угрозам физической расправы: «Я те мурло-то раскрашу! Краса, подумаешь! Алена, тридцать три года...» [1, с. 37]. Переключив сферу природных чувств в социальный регистр, герой логически завершает свои любовные переживания мыслью о возможности, даже необходимости, распространить принцип «отнять и разделить» и на женскую «красу», отношения между мужчинами и женщинами: «Буде с бабами валяться, буде... дай другим, а?» [1, с. 49], что приводит его к насилию над Еленой и самосуду сельчан над ним.

Как велика была тоска Вс. Иванова о «спокойствии» национальной жизни России, как органично входила она в арсенал «последних дум» автора и каким укоряющим противопоставлением и «великой встряске», и только что разыгравшейся кровавой сцене самосуда предстала русская природа, свидетельствовал финал рассказа: «Долина опять наполнилась *плодородной тишиной*, опять на жнивье гоготали сытые гуси, и опять месяц в озере был тепел и походил на каравай, только что вынутый из печи» [1, с. 59] (курсив мой. – Л. Я.). Словом, «жить бы, поживать да посмеиваться в такое утро да в таких местах» [1, с. 39].

Если в рассказе Вс. Иванова любовь оказывается жертвой социального «неспокойствия», то и в рассказе К. Федина вернуть ее в русло гармонии удается только путем возвращения тишины в разоренное жилище Таисы Родионовны. Когда-то Александр Антоныч предал свою любовь к ней случайной связью.

Однажды, возвращаясь из Рагозина, куда что ни день катал любоваться на свою невесту, засмотрелся он на деревенское игрище, и той же ночью ловкая плясунья Аксютя встретила зарю в усадьбе молодого барина. Сохранив сердечную верность своему первому чувству, измены ему Таиса не простила. Прошло тридцать четыре года и те самые последние шесть лет, когда, разделив ее имение, крестьяне сказали: «Вы, Таиса Родионовна, редкая дворянка, и к тому же старая девка. По этому случаю мы постановили оставить тебя на семена. Ступай с богом куда твоя душа желает» [6, с. 354]. Прослышав о ее возвращении, Александр Антоныч без промедления отправился в Рагозное, чтобы увидеть, наконец, преданную им когда-то невесту и вымолить у нее прощение. Постаревшая женщина не жаловалась на участь, лишь посетовала: «Вот только грачи покоя не дают, гаркают с самой зари.

– Паршивая птица, грязная птица, воронья порода» [6, с. 356], – согласился Александр Антоныч. Действительно, к разорению дома прибавилось одичание парка, превратившегося за долгие годы в гигантское скопище грачей: «...надсадное гарканье грачевника вырвалось словно из земли и заклокотало под ногами. Над парком, катившемся по склону, взлетали то в одиночку, то стайками, то целыми тучами черные птицы. Широкие сучковатые верхушки лип, насколько хватало глазу, кишели и переливались исчерна-лиловыми перьями» [6, с. 364].

Не с первой попытки, доходя до изнеможения, одолевал Александр Антонович грачиное нашествие на парк, немало усилий приложил, освобождая его деревья от обременяющего многоэтажья грачиных гнезд, скопления помета, перьев, пуха, прежде чем наступила вокруг заветная, долгожданная, «возлюбленная» тишина и, как награда, пришла благодарность Таисы. «Парк высился безмолвной глухой стеной: грачи покинули свое гнездовье. Тишина невидным покрывалом колебалась над округой» [6, с. 363].

Сцены сражения героя с наглой, «паршивой» птицей исполнены в рассказе К. Федина скрытого смысла, по-своему иносказательны, predisполагают читателя к разнообразию размышлений. С момента наступления тишины очнулся от сумрачно-дикого существования Александр Антонович: вернулось к нему желание активной жизни, общего с крестьянским миром труда на земле. Завершающим средоточием идейно-эстетической цельности рассказа воспринимается его финальная сцена, отчетливо отдающая бунинскими интонациями, глубинной атмосферой «Антоновских яблок» и «Суходола», неискоренимостью их мысли о почвенной родственности интересов мужика и барина: «Перемены, что ль, ждешь, грача-то прогнал? – услышал он раскатистый оклик.

По дороге в поле, следом за плугом, вставленным в салазки, шел крестьянин...

– На яровые, что ли, – крикнул Александр Антоныч.

– На картошку!

– Погоди, я тоже пойду!

Он забежал в комнату, натянул сапоги, захватил поддевку, спрыгнул с крыльца и, догнав мужика, пошел с ним рядом» [6, с. 363].

Презентация сельской жизни, т. е. бытия в гармонии с ее почвенным началом, как эстетической самоочевидности, характерная для таких произведений деревенской прозы Бунина, как «Антоновские яблоки» и «Суходол», и во многом не чуждая поэтической атмосфере «Плодородия» и «Тишины», в революционную эпоху с ее пафосом социальной непримиримости и исторического возмездия иначе, как идеологическим вызовом, воспринята быть не могла и обвинений в биологизме с их авторов не снимали. Более того, осязательность бунинских реминисценций, т. е. имеющих отношение к творчеству писателя, демонстративно покинувшего революционную Россию, создавая в деревенских произведениях Вс. Иванова и К. Федина эффект поэтико-смыслового подтекста, существенно усиливала философ-

ское звучание их «последних дум» о времени, внося сильнейший элемент сомнения в безоговорочное оправдание революции и тем самым увеличивая их полемический резонанс.

Поэтико-смысловая продуктивность мотива тишины в осмыслении «огнедышащей нови» привлекла и Л. Леонова, в те же годы создававшего цикл «Необыкновенных рассказов о мужиках». В рассказе «Приключения с Иваном» (1927) он ведет хитрую и одновременно тонкую игру с непопулярным в официальной литературе мотивом: его герой страдает глухотой, он «свыкся с ней и даже полюбил свою нерушимую тишину»: «она избавила его от войны», он был плотником, и «она не мешала ему нести мужицкое ярмо» [9, с. 28]. Но та же глухота, обернувшаяся «нерушимой тишиной» внутреннего мира Ивана, становится непреодолимым препятствием к «предчувствиям зловещих испытаний», ожидающих страну после завершения войны, когда «обезумевшие от жажды видеть родимый дом, семью и строить новую жизнь солдаты покидали фронт и разбрелись по стране» [9, с. 29]. Прошедшие через кровавые бои, они утратили представление о ценности человеческой жизни, и невинной жертвой их слепого ожесточения становится Иван, которого в согласии с сельским миром они расстреляли «по военному времени».

Пойманный мужиками конокрад на беду оказался кузнецом Федором и как незаменимого на селе человека сход принял практическое решение в жертву общественного правосудия принести вместо него менее полезного Ивана: плотников на селе и без него хватало, и обвешанные оружием солдаты без промедления привели мирской приговор в исполнение. Непроницаемая сила личной тишины не спасла Ивана, вошла она «в горькое несоответствие свое стремительным бурям мира» [9, с. 35].

Вступая в поэтико-смысловое взаимодействие с разным жизненным материалом, развернутым в острую сюжетную интригу и представленным неповторимо яркими характерами в каждом из рассказов Вс. Иванова, К. Федина, Л. Леонова, мотив тишины служил этим авторам действенным средством осуществления важной творческой цели – поискам ответа на главный вопрос времени: что «полезно» и что «вредно» народу, что несет человеку «блаженство» – «спокойствие» или «стремительные бури века»... предоставляя тем самым возможность вступить в диалог с самим Горьким. Явленная в «Плодородии» и «Тишине» глубинная связь с древним и современным интертекстом, с одной стороны, с ломоносовскими, а с другой – с бунинскими интонациями в условиях полной аподиктичности отношения к революции безмерно усиливала подтекстовое звучание рассказов, что важно даже не столько в плане преодоления цензурных препятствий, сколько в смысле обогащения эстетики и поэтики русского реализма новыми чертами и свойствами художественного отражения мира (см.: [10]).

Список литературы

1. *Иванов Вс.* Тайное тайных / Подгот. Е. А. Папковой. М.: Наука, 2012. (Сер. «Литературные памятники»)
2. *Федин К. А.* Всеволод // Всеволод Иванов – писатель и человек: Воспоминания современников / 2-е изд., доп.; сост. Т. В. Иванова. М.: Сов. писатель, 1970. С. 5–7.
3. *Леонов Л. М.* Унтиловск // Леонов Л. М. Собр. соч.: В 10 т. / Примеч. О. Н. Михайлова. М.: Худож. лит., 1983. Т. 7: Пьесы. С. 8–92.
4. *Федин К. А.* Собр. соч.: В 9 т. М.: ГИХЛ, 1962. Т. 9.
5. *Бузник В. В.* Русская советская проза двадцатых годов. Л.: Наука, 1975.

6. Федин К. А. Тишина // Советский русский рассказ 20-х годов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 351–363.

7. Соколов-Микитов И. С. Письмо в Берлин // Под созвездием топора: Петроград 1917 года – знакомый и незнакомый: Сб. / Сост. В. А. Чалмаев. М.: Сов. Россия, 1991. С. 512–515.

8. Бунин И. А. Собр. соч.: В 5 т. М.: Правда, 1957. Т. 1. (Библиотека «Огонек»).

9. Леонов Л. М. Приключение с Иваном // Леонов Л. М. Собр. соч.: В 6 т. М.: Книжный Клуб Книговек; Терра, 2013. Т. 2. С. 28–36. (Сер. «Библиотека отечественной классики»)

10. Якимова Л. П. «Жизнь Смокотинина» как заглавный рассказ книги В. Иванова «Тайное тайных» // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 9. С. 261–266.

L. P. Yakimova

Novosibirsk, Russian Federation

**Vs. IVANOV'S NOVEL «FERTILITY» AND K. FEDIN'S «SILENCE»:
A LITERATURE DIALOGUE**

The purpose of the article is to make comparative benchmarking perscrutation of poetical and semantic content of V. Ivanov's novel «Fertility» and K. Fedin's «Silence» in the aspect of determination of narrative-compositional, figurative-stylistic and, most importantly, motif overlaps, similarities and differences of stylistic means and literary devices in enlightening life of a Russian village of 20s.

The novel's comparative-benchmarking research plan finds justification on a nominative level, as both «Fertility» and «Silence» converged on poetic diction that is polemically opposed to the harsh style of literature of 20s as well as «an industrial motif of cupola well and cupola furnace, of hummer and anvil» (K. Fedin) canonized by Proletkult.

Determination of intertextual roots of motifs of «silence» («quietness», «fertility»), the ideological and aesthetic role of Bunin's reminiscences in V. Ivanov's and K. Fedin's novels, also including L. Leonov's novel «Adventure with Ivan», allows us to draw conclusion about the depth of their subtextual content. That appears to be important not as much for overcoming obstacles of the censorship but for enrichment of aesthetics and poetics of Russian realism.

Keywords: Vsevolod Ivanov, motive, motivic analysis, poetics, revolution, Konstantin Fedin.

Yakimova Lyudmila P. – Doctor of Philology, Chief Researcher of the Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (8 Nikolayev Str., Novosibirsk, 630090, Russian Federation, motive@philology.nsc.ru)